

ОСОБОЕ ЧУВСТВО РОДИНЫ

О, если бы его увидеть, слышать. Думается, он ничем бы сразу и не поразил. Негромкий голос, тихие движения, лицо покойное, святого плотника великорусского. Такой он даже на иконе — через всю его условность — образ невидного и обаятельного в задушевности своей пейзажа русского, русской души. В нем наши ржи и васильки, березы и зеркальность вод, ласточки и кресты и не сравнимое ни с чем благоухание России.

Б. Зайцев.

«Преподобный Сергей Радонежский»

Главным героем древнерусской литературы, главным предметом чаяний, переживаний и пророческих озарений авторов была Русская земля. Академик Д.С. Лихачев совершенно справедливо назвал литературу домонгольского периода литературой одной темы — темы Русской земли. Можно смело утверждать, что данное положение распространяется на весь русский литературный процесс вплоть до настоящего времени.

Особое чувство Родины, можно сказать, изначально присуще русскому человеку. Оно сохраняется на генном уровне, впитывается нами с молоком матери. Даже тоска по Родине, свойственная вообще-то каждому народу, у русских людей проявляется особенно остро:

Проплываем океаны,
Бороздим материки,

И несем в чужие страны
Чувство русское тоски.

(А.Н. Вертинский, «О нас и о Родине», 1935 г.).

С понятием Русская земля, что вполне объяснимо и весьма показательно, мы встречаемся уже в самом первом из дошедших до нас из глубины веков памятнике древнерусской литературы — «Слове о законе и Благодати» митрополита Илариона Киевского. О Русской земле Иларион говорит исключительно с любовью. Он восхищается князьями-собирателями Русской земли; радуется тому, что о Русской земле слышаны другие народы, что евангельский источник наполнил Русскую землю, что русичи, минув стадию духовного рабства, стадию закона, из тьмы язычества вышли прямо к солнцу Благодати.

Не менее показательно и то, что рядом с понятием Русская земля Иларион ставит понятие русский народ. И хотя Русская земля была уже «ведома» при деде и отце Владимира — Крестителя Руси, по-настоящему, на века и тысячелетия, она вышла на орбиту мировой истории только тогда, когда «вера благодатная <...> достигла нашего народа русского». Так запечатленные в художественном слове, определяющие смысл жизни русского человека, понятия Бог, Родина, народ неразрывно утверждаются в историческом и духовном пространстве.

Как известно, русская литература начиналась с летописания. Летопись стала первым собственно русским жанром, отличавшимся даже от византийской хроники. Не будем говорить о своеобразии летописи с точки зрения формы, а сразу укажем на ее главную, содержащую особый мировоззренческий смысл особенность: создатели русской летописи (а

летопись, как известно, является результатом коллективного труда и существует в виде летописного свода) рассматривают ход русской и мировой истории сквозь призму интересов Русской земли. Об этом свидетельствует полное название, пожалуй, самой известной из русских летописей «Повести временных лет» (начало XII в.): «Вот повести минувших лет, откуда пошла Русская земля, кто в Киеве стал первым княжить, и как возникла Русская земля».

У неискущенного читателя, открывшего первые страницы «Повести», может возникнуть вопрос: зачем создатели летописи обращаются к столь давним, в прямом смысле слова, послепотопным временам истории человечества, к рассказу о Ное и его сыновьях? Ведь речь вроде бы должна идти о начале, об истоках Русской земли? Отвечаем. Если Русская земля в древнерусской традиции — это в первую очередь народ, ее населяющий, вопрос должен быть поставлен так: откуда появился (возник) русский народ? Летопись свидетельствует: от нориков, которые и есть славяне. Так, шаг за шагом — от минувшего к настоящему — автор приводит читателя к неоспоримому факту: русичи — потомки Иафета, одного из сыновей Ноя. Отсюда следует неизбежный вывод (и этот вывод сегодня нисколько не потерял своей актуальности!): русские, как и другие народы, имеют такое же право на свою землю, на свою историю, на свое место в истории человечества. Легендой о посещении Русской земли апостолом Андреем Первозванным летописец как бы освещает и освящает эту землю светом христианства. Если летописный рассказ о сынах Ноя утверждает старозаветное право славян на свое место в истории человечества, то легенда, основанная на духе Нового Завета, фактически дает русичам, говоря словами Пушкина, право на «свою формулу истории».

Основную идею «Слова о полку Игореве» обычно кратко определяют таким образом: «Призыв князей к единению». Часто читаем расширенный вариант: «Призыв князей к единению, прозвучавший незадолго до нашествия монголо-татар». И тут ставится точка. Но ведь это — свидетельство провала, духовной пустоты. Русскому человеку необходимо знать: единение ради чего и во имя чего? Между тем этот призыв, явленный на разных уровнях, с использованием всей палитры доступных художественной системе Древней Руси средств (и даже — доселе недоступных ей, поскольку гений автора «Слова» опе-

редил время), есть призыв к единению во имя блага и процветания Русской земли. Эти ожидания звучат и в устах государственного мужа — Великого Киевского князя («золотое слово» Святослава), и в плаче Ярославны, символизирующей Русскую землю в ее материнском облике (Родина-мать), проявляются в настроении русской природы, чутко реагирующей на происходящее: «Никнет трава от жалости, а дерево от печали к земле приклонилось», звучит в лирических восклицаниях самого автора: «О Русская земля! Уже за шеломянемь еси!».

Особое чувство Родины в русском человеке и героях русской литературы проявляется по-разному: и в страстном патриотическом порыве, стремлении защитить Отечество, и тогда судьбы героев неразрывно связываются с судьбами страны; и в борьбе за веру православную, за Святую Русь; в любви к народу и стремлении к «народной правде»; в установлении особой, духовной связи с родной природой.

В момент гибели древнерусского государства под ударами монголо-татарских орд был создан замечательный памятник — «Слово о погибели Русской земли» (XIII в.). Русская земля уже лежит в руинах, а в восприятии автора, его читателей-современников и следующих поколений читателей она величественна и прекрасна. Серьезный ученый-медиевист (специалист по истории и культуре средних веков) тут же скажет об особом литературном стиле Киевской Руси — историческом монументализме, когда вся Русская земля в ее величии и красоте обзревается автором и читателем с некой идеальной высоты. Мы же с вами обратим внимание на следующее: перед нами в совершенной художественной форме раскрывается понятие Русская земля в частях, ее составляющих, и скрепах, соединяющих их в единое — духовное — целое: «О, светло светлая и украсно украшена, земля Руськая! И многими красотами удивлена еси: озера многими удивлена еси, реками и кладязми месточестными, горами, крутыми холми, высокими дубровами, чистыми полями, дивными зверьми, разноличными птицами, бесчисленными города великими, селы дивными, винограды обителными, дома церковными, и князми грозными, бояры честными, вельможами многими. Всего еси исполнена земля Руская, о правая верная вера христианьская!» Здесь и природа, нетронутая и возделанная человеком, города и села с их населением и церквами, и сильные мира сего, и — главное — то,

что придает Русской земле цельность, силу, красоту и величие, смысл существования, — вера христианская.

Традиционно солью Русской земли, ее ядром считался народ. В XVI веке Ермолай-Еразм в трактате «Правительница» не только отводил земледельцам главную роль в русской жизни, но и подчеркивал, что их труд особо угоден Богу: «Необходимы вельможи, но вовсе не трудом своим снабжаются они. Необходимы, прежде всего, земледельцы: от их трудов хлеб, а от него начало всех благ — хлеб на литургии в бескровную жертву приносится Богу и в тело Христово обращается. И вся земля потом от царя и до простых людей питается от их трудов». Поэтому три века спустя А.С. Хомяков в статье «Мнение русских об иностранцах» (1846 г.) уже говорил как о непреложном, давно установившемся в национальном сознании: «Отечество находится не в географии. Это не та земля, на которой мы живем и родились, и которая в ландкартах обводится зеленой или желтой краскою. Отечество также не условная вещь. Это не та земля, к которой я приписан, даже не та, которую я пользуюсь, и которая мне давала с детства такие-то или такие-то права и такие-то или такие-то привилегии. Это та страна и тот народ, создавший страну, с которыми — срослась вся моя жизнь, все мое духовное существование, вся целость моей человеческой деятельности. Это тот народ, с которым я связан всеми жилами сердца и от которого оторваться не могу, чтобы сердце не изошло кровью и не высохло».

Если народ по большому счету и есть Русская земля, то в таком случае очень важным будет следующее свидетельство Достоевского: «Русский народ весь в Православии и в идее его. Более в нем и у него ничего нет — да и не надо, потому что Православие все».

Повторим еще раз: в русском национальном сознании Родина — понятие неизменно священное, неизменно несущее в себе Божественное начало.

История России сделала жанр воинской повести одним из важнейших в древнерусской литературе. Русские авторы воспевали беззаветный героизм соотечественников в борьбе с многочисленными врагами Русской земли. Эталонным образцом этого жанра стала «Повесть о разорении Рязани Батыем» (XIII в.), открывающая список литературных памятников периода борьбы за национальную независимость. В воинских повестях, как правило, перед

решающей битвой князь обращается к дружине с призывом, напрямую связанным с основной идеей произведения. Рязанский князь произносит следующие крылатые слова: «Лутче нам смертию живота купити, нежели в поганой воле быти». Любой погибший за Русскую землю кровью смывает свои грехи перед ней и Богом.

В этот же период создана «Похвала роду рязанских князей». Летопись свидетельствует, что из всех князей Древней Руси рязанские отличались особо буйным нравом. Незадолго до монголо-татарского нашествия был написан «Рассказ о преступлении рязанских князей». Что же произошло за столь короткий срок, почему так резко изменилось отношение к тем же самым князьям со стороны русских книжников? Ответ прост: рязанские князья почти все как один пали в боях за Русскую землю. Поэтому в памяти потомков они остаются добродетельными, Боголюбивыми и — главное — князьями, которые «отчину свою от супостатов (врагов) без лености оберегали».

Жертвенная искупительная гибель за Русскую землю в борьбе с врагами, как особо подчеркивают древнерусские авторы, стала уделом всех без исключения. Русские люди в трагический для истории Отечества момент всегда сопрягали свои судьбы с судьбами Русской земли. В «Повести о разорении Рязани Батыем» несколько раз повторяется фраза: «Все равно умерли и единою смертную чашу испили». Есть в «Повести» и более развернутая формулировка, которая еще раз подчеркивает общность судьбы рязанцев: «Не было тут ни стонущего, ни плачущего — ни отца и матери о детях, ни детей об отце и матери, ни брата о брате, ни сродников о сродниках, но все вместе лежали мертвые».

Прошло время, возникло Московское царство, изменились способы ведения военных действий, появился порох. Но неизменным остался героизм русских людей-защитников родной земли. В XVII веке, в царствование Михаила Романова, донские казаки захватили и долго удерживали от превосходящих сил противника турецкую крепость Азов. О взятии крепости и об «осадном сидении» донских казаков были созданы так называемые «Азовские повести». Идя на смерть, казаки восклицают: «Топерво мы, бедныя, расставаемся с вашими чудотворными иконами и со всеми християны православными. Не бывать уж нам на Святой Руси! Смерть наша грешничыя в пустынях

за ваши иконы чудотворные, за веру христианскую, за имя царское и все государство Московское».

Еще через несколько веков, в 30-е годы XIX века, Гоголь напишет повесть «Тарас Бульба» (окончательная редакция — 1842 г.). Вот описание гибели казаков: «Пошатнулся Шило и почувал, что рана была смертельна. Упал он, наложил руку на свою рану и сказал, обратившись к товарищам: «Прощайте, паны-братья, товарищи! Пусть же стоит на вечные времена православная Русская земля и будет ей вечная честь!» И зажмурил ослабшие свои очи, и вынеслась козачья душа из сурового тела <...>».

А уж упал с воза Бовдюг. Прямо под самое сердце пришлось ему пуля, но собрал старый весь дух свой и сказал: «Не жаль расстаться с светом. Дай Бог и всякому такой кончины! Пусть же славится до конца века Русская земля!» И понеслась к вышинам Бовдюгова душа рассказать давно отошедшим старцам, как умеют биться на Русской земле и, еще лучше того, как умеют умирать в ней за святую веру».

Как видим, понятие Русская земля в сознании ее защитников, независимо от эпохи, неразрывно связано с православной верой. Это единство стало залогом непобедимости русского человека, когда он стоит за правое, за Божье дело. Гимном России, Православию, русской силе звучат заключительные строки гоголевской повести: «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!»

В начале 60-х годов XIX века к историческому прошлому России обращается А.Н. Островский. В отличие от писателей-демократов он не стремится искать в истории России доказательств царского деспотизма, проявления крепостного гнета и других форм чудовищной несправедливости — всего того, что Н.А. Добролюбов свел к понятию «темное царство». В историческом прошлом драматург хочет найти источник активного созидательного действия на благо России и находит его в событиях 1612 года, связанных с освободительной борьбой русского народа против польских интервентов. Он пишет пьесу «Козьма Захарьич Минин, Сухорук» (1862 г.):

Что может противостоять смуте, разбою, грабёжам, унижению иноземного закабаления? — Любовь к Отечеству:

Москва нам мать!.. <...>

А разве дети могут мать покинуть

В беде и горе?

И вновь традиционно для русской классической литературы любовь героев пьесы к Отечеству неотделима от преданности православной вере:

Поможем, братья, родине святой!

Что ж! Разве в нас сердца окаменели?

Не все ль мы дети матери одной?

Не все ль мы братья от одной купели?

Герой Островского, защитник России от польской интервенции и опасности превращения русских людей в католиков, в понятие Родина включает и «родные пепелища». Здесь русский драматург, несомненно, следует пушкинскому пониманию Отечества и форм проявления любви к нему как пониманию русскому национальному. (Имеется в виду черновой набросок Пушкина, ставший одной из формул русского самосознания:

Два чувства дивно близки нам,

В них обретает сердце пищу:

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам.)

Одновременно Островский усиливает православное звучание текста пьесы, исходя из той исторической ситуации, которую он художественно воссоздает:

Нам дороги родные пепелища,

Мы их не променяем ни на что.

Нам вера православная да церковь

Дороже всех сокровищ на земле.

(Вскоре после создания пьесы драматург особо оговаривал: «Подняло в то время Россию <...> боязнь костела, и Минин <...> собирал деньги на великое дело, как собирают их на церковное строение».)

Еще один важный момент: когда приходит пора Козьме Минину принимать окончательное решение, ему является Сергей Радонежский, собиратель русского духа, в свое время вдохновивший на битву с иноверцами Дмитрия Донского. Любовь к Отечеству и высокую ответственность перед ним окрыляют героя и дают ему силы поистине богатырского, былинного размаха:

Я чувствую неведомые силы,

Готов один поднять всю Русь на плечи,

Готов орлом лететь на супостата.

Эта богатырская державная поступь русского православного солдата уже звучала в чеканных строках Г.Р. Державина:

А слава тех не умирает,

Кто за Отечество умрет <...>

«Ода на взятие Измаила» (1790 г.)

На излете XVIII века, века европейского Просвещения, на глазах «просвещенной» (и изумленной!) Европы суворовские чудо-богатыри проявили беспримерную отвагу в битвах и беспримерную волю в преодолении любых преград и любых лишений во имя Веры и во имя Отечества. В статье 1846 года «Мнение русских об иностранцах» А.С. Хомяков приведет показательную беседу «прогрессивного» «европейски просвещенного» сына с отцом — защитником «старины» по поводу суворовских побед: «Раз случилось, что сын сказал ему: «Разве не нашему просвещенному времени принадлежит слава побед и самое имя великого Суворова?» Старик обратился к восьмидесятилетнему отставному майору, давно уже отпустившему седую бороду, и спросил с улыбкой: «Что, Трофим Михайлович, похожи были Суворов и его набожные солдатики на моего Мишеля и его приятелей?» Разговор кончился общим смехом и долгим, басистым хохотом седого майора, которому эта мысль показалась нестерпимо смешною. Молодой денди сконфузился». Хомяков резюмирует: «Точно такого же рода вопрос и с таким же ответом мог бы быть приложен и ко всему великому, совершенному нами <...>».

Отечественная война 1812 года, давшая мощный толчок росту русского национального самосознания, в минуту грозной опасности пробудила в русских людях то особое общее состояние духовного единения, которое мы часто называем соборностью.

Из сферы церковной жизни с ее догматами и таинствами соборность распространяется в сферу русской общенациональной всеобщей жизни, входит в ее плоть и кровь. Тогда единение всех и каждого на основе братской христианской любви, подчинение личных устремлений и идеалов над индивидуальным всеобщим идеалам Христа, органичное «единство во множестве» как проявление «свободного единодушия» (А.С. Хомяков) в момент решающего противостояния захватчикам переходит в решительное приятие общей судьбы, в потребность общей борьбы, общей жертвы во имя чести и независимости Родины.

Соборность трудно передать словесно — она постигается душой и сердцем. И все же русская классическая литература, плоть от плоти, кровь от крови народа, в лице своих великих представителей преодолела эту трудность.

Духом соборного единения, духовного богатства пронизано гениальное стихотворение Лермон-

това «Бородино»(1837 г.), которое одно искупило весь во многом надуманный, наносной (извне принесенный) демонизм поэта, чувство собственной исключительности (проще говоря — гордыню) его лирического героя.

Неслучайно Лев Толстой признавался, что именно это стихотворение стало зерном замысла его четырехтомного романа-эпопеи «Война и мир» (1863 — 1869 гг.).

«Всем народом навалиться хотят, одно слово — Москва. Один конец сделать хотят», — говорит Пьеру Безухову неизвестный ему солдат во время подготовки русских к Бородинской битве. «Несмотря на неясность слов солдата, — поясняет Л.Толстой, — Пьер понял все то, что он хотел сказать, и одобрительно кивнул головой». Читаем ниже: «Увидав <...> мужиков, <...> Пьер опять вспомнил раненых солдат в Можайске, и ему понятно стало то, что хотел выразить солдат, говоривший о том, что всем народом навалиться хотят. Вид этих работающих на поле сражения бородатых мужиков <...> подействовал на Пьера сильнее всего того, что он видел и слышал до сих пор о торжественности и значительности настоящей минуты».

Когда решаются судьбы Русской земли, особое чувство Родины требует от русского человека простоты и определенности его переживаний, заставляет сосредоточиться на главном. Так, простак Остап из повести Гоголя «Тарас Бульба», казалось бы, напроць лишенный эстетического вкуса и глубоких личностных переживаний, оказывается способен на подвиг и мужественно принимает смерть, испытывая нечеловеческие мучения. И только когда уже его муки становятся невыносимыми, он обращается за моральной поддержкой к отцу: «Батько! где ты! Слышишь ли ты?» Освобождение Родины от поляков стало для него и для тысяч других казаков единственной целью жизни, главным ее смыслом. Ведь неслучайно, по образному определению Гоголя, казачество — та сила русского народа, которую «огниво бед» «вышибло из народной груди».

Под стать гоголевскому Остапу герой замечательной «книги про бойца» Василий Теркин из одноименной поэмы А.Т. Твардовского, созданной в годы Великой Отечественной войны. Вся сила драматических индивидуальных переживаний Теркина уходит внутрь его души. Этим его личность несколько не обесценивается, а сам герой получает возможность

сосредоточиться на главном для народа, для страны, для всего человечества. Простой русский солдат, вельселек и балагур, то попадающий под бомбежку, то перебирающийся вплавь в крошеве льда на другой берег реки, то играющий на гармонии, то переживающий о потере кисета с махоркой, никогда не забывает о том, что

<...> Россию, мать-старуху,

Нам терять нельзя никак.

(Глава «О потере»).

Теперь глубина содержания поэмы Твардовского обретает особую простоту и ясность:

Ясно все до точки.

Надо, братцы, немца бить,

Не давать отсрочки.

(Глава «О войне»)

Нет дороги, нету права

Побывать в родном селе.

Страшный бой идет, кровавый,

Смертный бой не ради славы,

Ради жизни на земле.

(Глава «О награде»).

А вот попытки героя русской классической литературы, сознательно ли, подсознательно ли или бессознательно — все едино, — отделить свою судьбу от судеб Отечества всегда трагична. И прежде всего для него самого и для его близких.

Таков другой герой гоголевской повести, младший сын Тараса Бульбы эстет Андрий. Плененный красотой «прекрасной полячки», он оказывается способен на предательство и измену. Обращаясь к предмету своей любви, герой восклицает: «А что мне отец, товарищи и отчизна! <...> Кто сказал, что моя отчизна Украина? Кто дал мне ее в отчизны? Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для нее всего. Отчизна моя — ты! Вот моя отчизна! <...> И все, что ни есть, продам, отдам, погублю за такую отчизну!»

Через столетия судьбу гоголевского Андрия в главном — отрыве от Отечества — повторит Андрей Гуськов, герой повести В.Г. Распутина «Живи и помни» (1976 г.). В последние месяцы Великой Отечественной войны он дезертирует. Как и младший сын Тараса Бульбы, Андрей не был трусом. Он пробыл на фронте несколько лет, был ранен. Последнее ранение оказалось особенно тяжелым, и его отправили в тыловой госпиталь, на Урал. По мере того как к нему возвращались жизненные силы, в его душе стала крепнуть мысль: мол, хватит,

отвоевался, пускай другие воюют. Он возвращается в родную сибирскую деревню Атамановку. Возвращается тайно и открывается только жене Настене. Андрей пытается оправдать свое дезертирство тем, что теперь у него появится ребенок, а значит, он не зря вернулся, не прервется ниточка его рода. Однако ниточка прерывается: его супруга Настена бросается в воду и тонет. Она смогла вынести позор, когда свекровь обвинила ее в том, что она «нагуляла» ребенка на стороне. Не выдерживает Настена тогда, когда в деревню приходит весть о Победе. Вот «деревня взыграла... <...> бабы, бросаясь друг к другу, закричали, заголосили, вынося на люди и счастье, и горе, и вмиг отказавшее, надсадившееся терпение; забегали, засновали ребятишки, оглушенные новостью, которая в них не вмещалась, была больше всего, что довелось им до сих пор испытать <...> деревня, как могла, принарядилась, люди достали и оделись в лучшее, что хранили годами, ребятишки тут и там поднимали над воротами, над избами самодельные флаги. Агафья Сомова прикрутила к шесту сыновью красную рубаху, осиротевшую с прошлой осени, но еще добрую, не вылинявшую; <...> а чтоб без нее не сняли, встала у ворот на страже». Настена, привыкшая делить со всеми и радость, и горе, в день великой — одной на всех — Победы не вынесла проступка Андрея. А сам он, показывает автор, обрекает себя на жизнь одинокого волка.

Герой самого задушевного и самого русского романа И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» (1858 г.) Федор Лаврецкий после тяжелой душевной травмы возвращается из-за границы, где он провел несколько лет, в родные места. Забытая в суете Парижа и музейной тишине Италии спокойная неспешность национального бытия, соединенная с острым восприятием энергии жизни русской природы, оказала на него удивительное воздействие и пробудила в нем чувство родины: «И какая сила кругом, какое здоровье в этой бездейственной тиши! Вот тут, под окном, коренастый лопух лезет из густой травы; над ним вытягивает зоря свой сочный стебель, богородицины слезки еще выше выкидывают свои розовые кудри; а там, дальше, в полях, лоснится рожь, и овес уже пошел в трубочку, и ширится во всю ширину свою каждый лист на каждом дереве, каждая травка на своем стебле. <...> Жизнь текла неслышно, как вода по болотным травам; и до самого вечера Лаврецкий не мог оторваться от созерцания этой уходящей, утека-

ющей жизни; скорбь о прошедшем таяла в его душе, как весенний снег, и – странное дело! – никогда не было в нем так глубоко и сильно чувство родины».

Однако, как подчеркивал русский славянофил Ю.Ф.Самарин, чувство родины предполагает «потребность духовного воссоединения с родным краем». Пути такого воссоединения герою известны: «<...> признание народной правды и смирение перед нею – то смирение, без которого и смелость противу лжи невозможна». В полемическом задоре, когда слова приходят как бы сами по себе, когда чувство мужского соперничества придает Лаврецкому особую напористость, герой выглядит весьма убедительно.

Однако «народная правда» – это «правда Христа». Первые слова приветствия возвратившегося Лаврецкого звучат бодро и очень по-русски: «Как вас Господь милует?» Однако Бога-то в его душе как раз не было.

Любовь к Лизе Калитиной дала герою возможность приблизиться к народной правде почти вплотную. Особую роль здесь сыграло первое посещение им церкви, куда он идет на встречу с Лизой. В минуту счастья все родное «говорило его сердцу»: и «родные» лица русских людей, и звуки «согласного» церковного пения, и запах ладана, и лучи света, и темнота церковных сводов, и незримо присутствовавший во всем этом Бог: «<...> он и теперь не произнес никаких молитвенных слов, – он без слов даже не молился, – но хотя на мгновение если не телом, то всем помыслом своим повергнулся ниц и приник смиренно к земле».

В последующей сцене, на паперти, – апофеозе «чувства родины» – отчетливо ощущается то, что никогда более не проявится в творчестве Тургенева – начало соборного единения в Боге и любви. Мелодия любовного чувства к Лизе в сердце героя наполнилась Лизиной молитвой о нем и на мгновение влилась в симфонию русской жизни. И церковная служба, и Лиза, его ангел-хранитель, и яркое солнце, и молодая трава, и пестрые (яркие) платья и платки женщин, и гудение колоколов соседних церквей – все это есть уже свет, цвет и полный голос «народной правды».

С отъездом Лизы это все исчезло. Лаврецкий «раздал свои деньги нищим и тихонько побрел домой».

После ухода Лизы в монастырь герой Тургенева

не смиряется ни перед Богом, ни перед народной правдой, что есть одно и то же. Он смиряется перед судьбой. Поэтому он сломлен. Герой Тургенева мог быть счастлив. И не стал счастливым. Он мог, говорит писатель, быть доволен. Но не стал довольным. Он делает дело, а душа его мертва. Чувство родины не исцелило ее, потому что без народной правды оно стало мертвой водой. Жизнь героя закончилась. Теперь он живет по инерции.

По Достоевскому, народная правда – «правда Христа» – оживляет и воскрешает человека.

По Тургеневу, такая правда умаляет человеческую личность и губит ее. Это закономерно потому, что сам автор «Дворянского гнезда» как «русский скиталец» («русский европеец») стремится поверить народную правду «началами, выработанными западной жизнью».

Правда русского характера Лаврецкого не слилась с народной правдой, а кровное «чувство родины» не стало духовным чувством. Сам же Тургенев своей судьбой и своим творчеством явил миру трагедию совершенного «русского западника», «русского скитальца» и закономерно, по Достоевскому, – «русского страдальца». Любя Россию, он искренно и страстно желал ей блага на путях приобщения национального бытия к «началам, выработанным западной жизнью», и – был обречен всюду видеть крах своих надежд и упований. Поэтому его герои – даже самые что ни на есть «крепкие» русские натуры, с «долговечной» силой, с живущим в них «чувством родины» – фатально обречены на уход с «земного поприща». Поэтому Тургенев с горечью сравнивал себя то с «полуразвалившимся сараем», то с «едва привитой (речь, разумеется, идет о европейской культурной прививке. – Прим. авт.) российской яблоней».

Итак, подчеркнем еще раз: в чувстве Родины, которое внезапно проснулось в герое романа «Дворянское гнездо», в описании Тургеневым природы, которая разбудила в нем это чувство, не было чувства Бога.

Ощутить, увидеть Бога благодаря общению с природой – это особое качество православной души, и как раз об этом замечательное стихотворение М.Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива...» (1837 г.):

Известный современный литературовед И.А.

Есаулов совершенно справедливо заметил: мы привыкли считать (а вернее, нас приучили к этому), что русский пейзаж хорош сам по себе; однако без мажорков православных церквей пейзаж перестает быть русским.

«Храмы Божии по лицу земли родной» (Н. Некрасов) – свидетельство присутствия Бога в сердце человека, в сердце России.

«Именно после Италии, – пишет Н.Н.Скатов, автор книги «Некрасов», – впервые в некрасовских стихах в такой степени прорвалась любовь к России и впервые к России в ее целом, к ее природе вообще, к ее народу в особенности». И продолжает: «Некрасов в «Тишине» как только, оттолкнувшись от Европы, художественно познал идею русского пейзажа, так и пошел к России – вообще к народу – в целом, к Богу – в бесконечности».

Храм божий на горе мелькнул
И детски чистым чувством веры
Внезапно на душу пахнул. <...>
Храм воздыханья, храм печали –
Убогий храм земли твоей:
Тяжеле стонов не слышали
Ни римский Петр, ни Колизей!
Сюда народ, тобой любимый,
Своей тоски неодолимой
Святое бремя приносил –
И облегченный уход.

(Н.А. Некрасов, поэма «Тишина», 1856–1857 гг.).

Эти проникновенные строки были написаны Некрасовым во многом вопреки демократическим установкам поэта.

Некрасов-демократ называл свою музу (вдохновительницу поэзии) музой мести и печали. Некрасов-демократ был уверен: «То сердце не научится любить, // Которое устало ненавидеть». Он хотел следовать и, по преимуществу, следовал за Виссарионом Белинским, который считал, что литература должна обличать существующий в России общественный строй.

Однако чувство Родины заставило звучать некрасовскую лиру по-иному. Поэт взглянул на русскую жизнь новыми глазами после возвращения из заграничного путешествия, после событий, связанных с Крымской войной, когда протестантская Англия и католическая Франция союзно с мусульманской Турцией при полной поддержке западноевропейских политиков (которых Пушкин когда-то иронич-

но назвал «народными витиями») обрушились на Россию всей своей военной и пропагандистской мощью. В поэме «Саша» (1855 г.) Некрасов восклицает:

<...> Дай мне отраду объятий родных,
Дай мне забвенья страданий моих!

В поэме «Тишина» признается:

<...> Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль!

Все русские классики, начиная с середины XIX века, на определенном этапе жизни и творчества обязательно приближаются к Пушкину, к его пониманию «иной формулы» русской истории, отличной от западноевропейской, к его приятию Отечества таким, каким оно сформировалось на протяжении долгого исторического пути. Благодаря пушкинскому пониманию Отечества Некрасов в поэме «Тишина» художественно соединит (синтезирует) древнерусское видение родной земли с некоей идеальной высоты с пушкинским изображением картин родной природы:

<...> родной, любимый вид!
Там зелень ярче изумруда,
Нежнее шелковых ковров,
И, как серебряные блюда,
На ровной скатерти лугов
Стоят озера...<...>

В высших своих образцах русская литература облекает формулу Бог – Отечество – народ в совершенную художественную форму, раскрывающую самое сокровенное в сердце русского человека, связанное с восприятием мира и сути человеческого бытия. Видит Христа русскими глазами. Русский пейзаж суров, прост, безмолвен, даже, можно сказать, скуден. Беззащитен в молчании, и этим он соотносим в русском национальном сознании с образом Христа, молчаливо благословляющего на терпение и кротость жертвы. Классическим стало знаменитое стихотворение Тютчева «Эти бедные селенья...» (1855 г.):

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа –
Край родной долготерпенья,
Край ты Русского народа!
Не поймет и не заметит

Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.

* * *

Строки «Край родной долготерпенья, // Край ты Русского народа!» были взяты Тургеневым в качестве эпиграфа для самого лучшего его произведения — рассказа «Живые мощи» (1874 г.). С радостью мы возвратимся к разговору о писателе. Ведь главный герой романа «Дворянское гнездо» Федор Лаврецкий с его несчастной личной жизнью во многом был списан Тургеневым с самого себя. А теперь у нас появилась возможность проследить, как проявляется неискоренимая русская суть писателя, который, хоть на мгновенье, как и герой его рассказа, приобщился к народной правде.

Главная героиня — «долготерпеливая» Лукерья — символ христианской кротости и смирения народа, его «тихого» самопожертвования. Она живет, «не жалуясь и не напрашиваясь на участие», смиренно несет свой крест: «Да и на что я стану Господу Богу наскучать? <...> Он лучше меня знает, чего мне надобно. Послал Он мне крест — значит, меня Он любит». Скованная смертельной болезнью, она уверена, что «иным еще хуже бывает». Неподвижно лежащая в темном сарайчике, она радостно впитывает в себя все звуки и запахи, все доступные ей краски мира Божьего. Забыв о себе, думает о нуждах других. И только в самом конце рассказа, под впечатлением встречи с прошлым в лице барина, прорывается в ней такое понятное, простительное в ее праведном долготерпении, прощальное сожаление: «Помните, барин, <...> какая у меня была коса? Помните — до самых колен!»

Символична встреча барина-охотника, alter ego самого Тургенева, с зовущей его народной правдой, на склоне оврага, в темном плетеном сарайчике: «Я заглянул в полуоткрытую дверь: темно, тихо, сухо <...>. В углу приспособлены подмости, и на них, прикрытая одеялом, какая-то маленькая фигура... Я пошел было прочь...

— Барин, а барин! Петр Петрович! — послышался мне голос, слабый, медленный и сиплый, как шелест

болотной осоки. (Вот он — «слабый, медленный и сиплый», но — голос, голос народной правды. — Прим. авт.).

Я остановился.

— Петр Петрович! Подойдите, пожалуйста! — повторил голос. <...>

Я приблизился — и остолбенел от удивления».

При встрече с Лукерьей герой испытывает настоящий эвдемонический шок («остолбенел от удивления»): только что он «дышал радостно — всю грудью» «вольным воздухом, под ясным небом», и вдруг — за полуоткрытой дверью — темнота, а в углу некое «живое человеческое существо, но что это было такое?».

Затем наступает время эвдемонического изумления: Лукерья о своей страшной беде рассказывает почти весело.

Потом приходит черед «невольному» эвдемоническому ужасу: «полумертвое существо готовится запеть». Лукерья запела «Во лузях», песню о красоте мира и силе жизни («Во лузях, зеленых <...> / Вырастала трава шелкова, / <...> Расцвели цветы лазоревые / <...> Пронесли духи малиновые <...>»), о девичьем ожидании женского счастья («Батюшка, батюшка, / <...> Ты отдай меня за ровнюшку, / Уж я ровнюшку насмерть полюблю, / <...> Я со ровнюшкой гулять пойду»).

Ужас героя сменяется состоянием амбивалентной жалости: с одной стороны, это эвдемоническое сожаление о крахе человеческих надежд на земное счастье, с другой — «жалость несказанная», «стиснувшая» сердце героя, наполнившая его состраданием, оборачивается желанием коснуться Лукерьи («Я положил руки на крошечные холодные пальчики»). Тут же герой с поспешной радостью исполняет единственную личную просьбу Лукерьи — утирает слезу с ее глаз.

Теперь он готов преклониться и преклоняется перед ее христианским терпением, ее заботой о ближних. Заключительный абзац рассказа пронизан атмосферой умиления праведническим смирением русской крестьянки: «<...> в самый день кончины она все слышала колокольный звон, хотя <...> до церкви считают пять верст с лишним, и день был будничней. Впрочем, Лукерья говорила, что звон шел не от церкви, а «сверху». Вероятно, она не посмела сказать: с неба».

Народная правда не есть правда собственно кре-

стьянская. Эта правда как «правда Христа» — общерусская, всесловная. (Еще раз вспомним слова митрополита Илариона Киевского: «И всем быть христианами: малым и великим, богатым и убогим».)

В «Живых мощах» русский дворянин Тургенев изобразил христианскую кротость и смирение крестьянки Лукерьи, прочувствовал жизненную силу ее христианского самопожертвования и преклонился перед ними.

После возвращения русской классики XIX века в лоно русской духовности наша литература никогда уже не утрачивала связь с нею.

На долю литераторов-эмигрантов первой волны, тех, кто покинул Россию в годы революции и Гражданской войны (1917 — 1921 гг.), выпала особая миссия: осмыслить все произошедшее и происходящее с Россией, извлечь уроки истории, сохранить то здоровое, основополагающее, что должно остановить процесс разрушения традиционных устоев русской жизни, — православную духовность.

Осмысление и изображение трагедии революционной России как «распятия русской души» вело И.С. Шмелева и Б.К. Зайцева к вере в возможность духовного воскресения нации, всего русского мира.

В творчестве Шмелева проявляется вера в чудо. Появляется столь характерное для русской классики «вдруг», которое выступает как связующее начало между земным и небесным. Это вдруг опирается на веру в возможность скорого единения людей на основе братской любви, на потребность в самопожертвовании, самоотречении человека: «И вот, вдруг что-то и произойдет. Из всеобщей грязи и произойдет! Вдруг и осветится» (рассказ «Чудесный билет», 1925 г.). Правда, писателя и его героя временами оставляет надежда в обозримом будущем увидеть это чудо: «Святая искра в человеке есть! Бывает — гаснет. Но волхвы придут, большие... Нам не видеть!»

Атмосфера религиозной патриархальности, идеально-ностальгическая дымка давно минувшего детства в «Лете Господнем» (1933—1948 гг.) и «Богомолье» (1931 г.) охватывали русского читателя-ровесника Шмелева. Наплывая на трагическое настоящее, они поддерживали в нем веру в красоту, правильность и неискоренимость духовно нравственных устоев общества. Читатель же (а таких с каждым годом становилось все больше), лишенный подобного целительного опыта, незнакомый даже

с бытовыми реалиями ушедшей жизни (писателю приходится объяснять ему значения слов «обоз», «чугунка», «сбитень»; еще труднее читателю услышать вместе с автором визг полозьев в мороз или понять ощущение особой радости героя при скрипе первых колес весной), благодаря пронзительному шмелевскому чувству Родины все-таки оказывается способен испытывать утешающее умиление от соприкосновения с Россией и «православным строем ее души» (И.А. Ильин).

В «Богомолье» в главе «У Троицы» Шмелев запечатлел образ народной Руси, идущей к Сергию Радонежскому: «Свежие лица девушек тихих и ласковых в сснутых на глазах платочках, вымытые до лоска к празднику; чистые руки, несущие бережно просвирки <...> добрые, робкие старушки, в лаптях, в дерюжке, бредущие ко святыням за сотни верст, чующие святое сердцем». Видимо, эти строки и вызвали восклицание И.А. Ильина: «Богомолье! Вот чудесное слово для обозначения русского духа».

В творчестве Бориса Зайцева просто и отчетливо звучит призыв «устоять»: «Борись, отстаивай свой дом, свою семью и детей. <...> не сдавайся, русский, гражданин Арбата. <...> Будь спокоен, скром, сдержан. Призывай любовь и кротость, столь безмерно изгнанных, столь поруганных. <...> Плачь с плачущими. Замерзай с замерзшими и голодай с голодными. Но не гаси себя и не сдавайся плену мелкой жизни, мелкого стяжательства ты, русский, гражданин Арбата» (рассказ «Улица Св.Николая», 1918—1921 гг.).

Этим рассказом писатель вплотную подошел к замыслу «Преподобного Сергия Радонежского» (1925 г.). Устоять перед натиском губительных сил — устоять в вере, стоять перед Богом: «Гудят спокойные и важные колокола Трех Никол, вливаясь в сорок сороков церковей Москвы. На зов их собирается различный люд. <...> Все сюда собрались, все равны здесь, равенством страдания, задумчивости, равенством любви к великому и запредельному, общего стояния перед Богом». Зайцев не отрицает чуда, однако ожидания «вдруг» нет в его творчестве. В условиях реальной жизни предполагает он вести и ведет поиски, казалось бы, утраченного.

Борис Зайцев обратился к образу святого Сергия, потому что видел в народе «особую любовь и поклонение» ему, «безмолвную канонизацию в народного святого». «Как святой, Сергей одинаково велик для

всякого. Подвиг его всечеловечен. Но, — подчеркивает Зайцев, — для русского в нем есть как раз и нас волнующее: глубокое созвучие народу, великая типичность — сочетание в одном рассеянных черт русских». В художественном выявлении и фиксации (закреплении) этой «великой типичности» видел писатель свою основную задачу.

Принципиально важным в жизнеописании Преподобного Сергия Зайцев считает противопоставление двух типов духовности. С одной стороны, это Фиванда св. Антония первых веков христианства (Фиванда — историческая область Египта), мученья сладострастия, соблазн «яств и питий», роскоши, зной, «кровь юга» и цветущая Умбрия св. Франциска начала XIII века (Умбрия — историческая область Италии). С другой стороны — «северная Фиванда» и «великорусская Умбрия», Русь XIV века, «прохладная атмосфера северного духа» Преподобного Сергия.

Св. Франциск и Сергий хронологически отстают от св. Антония на тысячелетие, поэтому именно их Борис Зайцев сравнивает в «Преподобном Сергии Радонежском» как носителей разных типов (католической и православной) духовности.

Если Франциск «летел в светлом экстазе над землей», летел «в люди» с проповедью апостольской и Христовой, то Сергий полсотни лет «спокойно провёл в глубине лесов, уча самим собою, «тихим деланием». Бегству от мирской жизни, прямому разрыву с ней и столь же прямому миссионерству св. Франциска противостоят естественность и простота, безболезненность «тихого делания» Преподобного Сергия. Потрясению жизненных и духовных основ — духовное строительство.

Высокому предназначению Сергия, пишет Зайцев, отвечал «характер его человеческий», «далеккий от неожиданных, порывистых движений». Весь Сергий «как будто бы всегда <...> в сдержанной, кристально разреженной и прохладной обстановке». «Прохлада, выдержка и кроткое спокойствие, гармония негромких слов и святых дел, — подчеркивает Зайцев, — создали единственный образ русского святителя. Сергий глубочайше русский, глубочайше православный». Благодаря наличию высшего, по Зайцеву, качества личности — духовности, то есть способности ощущать Бога, дело жизни Преподобного Сергия «приняло покровительство Троицы, глубочайше внутренне

уравновешенной идеи христианства».

Таким образом, восторженному францисканству католицизма Зайцев противопоставляет православную духовность, принявшую благодать Пресвятой Троицы с ее органическим единством «одинокочистого пути» и «тихого делания», собиранием духовных сил нации.

Завершая описание жизни Преподобного Сергия, Борис Зайцев еще раз подчеркнет собирательность образа святого, символизирующего единение, концентрацию русского духа, противостоящего любому распаду, любой кривизне, любой коррозии: «Прохлада, выдержка и кроткое спокойствие, гармония негромких слов и святых дел создали единственный образ русского святого. Сергий глубочайше русский, глубочайше православный. В нем есть смолистость севера России, чистый, крепкий и здоровый ее тип. Если считать — а это очень принято, — что «русское» гримаса, истерия и юродство, «достоевичина», то Сергий — явное опровержение. В народе, якобы лишь призванном к «ниспровержениям» и разинской разнузданности, к моральному кликушеству и эпилепсии, Сергий как раз пример, любимейший самим народом, — ясности, света прозрачного и ровного. Он, разумеется, заступник наш. Через пятьсот лет, всматриваясь в его образ, чувствуешь: да, велика Россия. Да, святая сила ей дана. Да, рядом с силой, истиной мы можем жить».

Щемящее чувство Родины даровало Н.М. Рубцову силу выразить в советскую эпоху неискоренимую православную сущность души русского человека.

«В святой обители природы...» живет и совершает поступки лирический герой Рубцова. У поэта природа — полноценный художественный образ, имеющий святое для него значение и выступающий как символ Руси.

Подтверждение мы находим в стихотворении «Левитану (по мотивам картины «Вечерний звон»)», где соотносятся образные ряды храма (Руси) и луга (русской природы):

Над колокольчиковым лугом
Собор звонит в колокола!..
Я слышу звон и колокольный,
И колокольчиковый звон.
Твои луга звонят не глуше
Колоколов твоей Руси...

Если использовать эту соотнесенность в качестве ключа к пониманию и толкованию других стихотворений поэта, получим довольно целостную и законченную картину. При таком подходе яснее становится глубинный смысл строк стихотворения «В глуши» (1968 г.):

Когда душе моей
Сойдет успокоенье
С высоких, после гроз,
Немеркнувших небес...

Значение слова «небес» в данном контексте — гораздо шире того, что мы видим над своей головой. Поэт сам указывает на это, подводя читателя к необходимому выводу:

Земная веет святость,
И полная река
Несет небесный свет.

Такая соотнесенность проходит через все творчество Рубцова, открыто выражаясь во многих стихотворениях:

А возле ветхой сказочной часовни
Стоит береза старая, как Русь...
(«Осенние этюды», 1965 г.).

Как человек Богоподобный,
Внушает в гибельной борьбе
Пускай не ужас допотопный,
Но поклонение себе!..
(«Природа», 1969 г.).

Природа и человек выступают как единое целое, взаимообусловленное и божественное по своей сути.

Глубоко символичное значение имеют образы церквей, соборов, храмов. Человек в поэтической системе Рубцова вписан в контекст истории тысячелетней Руси. И это объединение происходит в том числе через образ храма.

Как сон столетий, Божий храм...
(«Душа хранит», 1966 г.).

Более того, прошлое в поэтической системе Рубцова объединяется с настоящим, восстанавливая прерванную духовную традицию:

А на горе — какая грусть! —
Лежат развалины собора,
Как будто спит былая Русь...

Какая жизнь отликовала,
Отгоревала, отошла!
И все ж я слышу с перевала,

Как веет здесь, чем Русь жила.
(«По вечерам»).

Мы можем утверждать, что лирический герой Рубцова воплощает в себе русский национальный идеал, основанный на православных воззрениях. В поэтическом наследии поэта воплощены коренные черты русского национального сознания: собранность, державность и открытость, реализующиеся через трагизм, глубинный лиризм, идею служения и самопожертвования. Особенно ясно это видно на примере образной системы стихотворения «Разбойник Ляля. Лесная сказка» (1968 г.).

Любовь воскрешает атамана, разбойника Лялю, который загубил немало людских душ. Раскаиваясь, он открыто заявляет возлюбленной княжне о дальнейшем пути:

Мы уйдем из этого становья,
Чтобы честно жить, как христиане,
Наслаждая миром и любовью.

Не желая продолжения разбоя и убийств, герой погибает в неравной схватке с алчным слугой Бархоткой. Поэт дает национальное понимание поступков кающегося грешника. В таком подходе он противоположен трактовке сходного сюжета у Некрасова, который показывает ситуацию, когда прощение раскаявшемуся разбойнику дается через убийство себе подобного (сказание «О двух великих грешниках» из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»).

Для Рубцова такой вариант «разрешения крови по совести», пусть и во имя высших побуждений, неприемлем. Более того, доводя ситуацию до высшей точки нравственного звучания, поэт создает образ старухи Шалухи, служанки Ляли, которая ощущает личную ответственность за искупление грехов хозяина. Рассказывая о жизни и смерти атамана, она пытается предостеречь людей от совершения подобных поступков.

Так, скорбя, и ходит богомолка,
К людям всем испытывая жалость,
Да уж чует сердце, что недолго
Ей брести с молитвами осталось.

Глубоко символично, что героиня умирает на могиле хозяина. Автор указывает на то, что такие действия Шалухи освящены свыше: «Вдаль гонима волею верховной...»

Художественное пространство и время в произведениях Рубцова широко, безгранично, направлено в вечность. Ничто не могло заставить Рубцова озлобиться. Строки из стихотворения «До конца» (1968 г.)

стали не только творческим кредо, но и принципом всей жизни автора, как, впрочем, любого порядочного человека.

Я клянусь,
Душа моя чиста.
Пусть она останется чиста
До конца,
До смертного креста!

Однако позиция лирического героя шире. Он не только отвечает за свою совесть, но и утверждает богоподобность человека и его ответственность за совесть и поступки окружающих:

Очарованием смелым
Сделай меж белых
Своих лебедей
Черного лебеда – белым!
(«На озере», 1971 г.).

Рубцов не только не отделяет свою судьбу от общей судьбы народа, но и испытывает боль из-за потери некоторыми лучшими черт национального характера: сострадания, взаимопомощи («Неизвестный»). Понять другого человека можно, только принимая его радости и скорби как собственные. Таков лирический герой стихотворения, видевший состояние неизвестного: «Он шел против снега во мраке бездомный, голодный, больной». Оценка, данная женщине, не пустившей прохожего на ночлег, сурова: «Тупая какая-то бабка».

В качестве противопоставляемого типа выступает православно открытая, соборная личность. Такова героиня стихотворения «Русский огонек» (1964 г.):

Я был совсем как снежный человек,
Входя в избу (последняя надежда!),
И услышал, отряхивая снег:
– Вот печь для вас и теплая одежда...

Через постижение русского национального характера происходит слияние лирического героя с историей своего народа:

Как много желтых снимков на Руси
В такой простой и бережной оправе!
И вдруг открылся мне
И поразил
Сиротский смысл семейных фотографий:
Огнем, враждой
Земля полным-полна,
И близких всех душа не позабудет...

Постигая народную духовность, лирический герой формулирует собственное отношение к миру:

За все добро расплатимся добром,
За всю любовь расплатимся любовью...

О чем бы ни писал Рубцов: о Родине, о природе, о любви, о детях, – всюду мы находим проявление коренных национальных черт. Так великим русским поэтом воплощен положительный национальный тип, православная духовность русского народа.

Россия, Русь! Храни себя, храни!
(«Видения на холме», 1962 г.).

Вернемся к монументальному образу Русской земли в «Слове о погибели Русской земли»: «О, светло светлая и украсно украшена, земля Руськая! И многими красотами удивлена еси: озера многими удивлена еси, реками и кладязьми местечестными, горами, крутыми холми, высокими дубровами, чистыми полями, дивными зверьми, разноличными птицами, бесчисленными городами великими, селы дивными, винограды обителными, дома церковными, и князьями грозными, бояры честными, вельможами многими. Всего еси исполнена земля Руская, о прававерьная вера християнская!» Вот она – величественная, безмерная, Святая Русь. Вот она – в своей идеальной ясности и кристальной чистоте духа. На века запечатленная в национальной памяти нашего народа, зовущая и взыскующая.

А вот та же Русская земля предстает перед героем незаконченного рассказа замечательного русского писателя второй половины XX века Ю.П. Казакова «Старый дом»: «Только теперь он понял, что если что-нибудь на свете стоит преклонения, стоит великой, вечной, до слез горькой и сладкой любви, так это – только эти луга, только эти деревни, пашни, леса, овраги, только эти люди, всю жизнь тяжело работающие и умирающие такой прекрасной, спокойной смертью, какой он не видел нигде больше». Она не утратила ничего из святости и возвышенной чистоты, только все это перешло в формы реальной земной жизни, «горькой и сладкой любви». И важно, что герой рассказа живет во время дореволюционное, давно ушедшее от нас.

Такой смысл жизни не может устареть, не может уйти вместе с «неперспективными деревнями», сторевшими лесами и «некошеным сенокосом»... Разве что – может быть утрачен вместе с утратой народа как такового или с утратой твоего собственного, подлинно человеческого, национального я. ■